

1875 год

оппозиции гораздо меньше, чем прежде, последствия немилости или царского неудовольствия гораздо менее страшны, а между тем гораздо реже являются примеры самостоятельной твердости в исполнении обязанностей. Недавно, разбирая бумаги деда моего — Нелединского-Мелецкого, я нашел черновое, им писанное письмо к государю Александру I, в числе четырех сенаторов 4-го департамента Сената, в котором он прямо жалуется государю на то, что Государственный совет извратил в одном всеподданнейшем докладе, по одному делу, обстоятельства дела. И государь, получив это письмо, приказал вновь рассмотреть это дело в Государственном совете, и хотя прежнее постановление Совета оставалось в своей силе, но тем не менее нельзя не признать со стороны сенаторов, решивших послать подобную жалобу, и со стороны государя, принявшего ее, — мужественное и верное понимание ответственного дела. Теперь подобный факт был бы просто невозможен. Никому даже в голову не могло бы прийти постоять за свое мнение в интересах дела, но ежели бы подобная попытка и была бы сделана, то ее приняли бы за бунт. Я почти не знаю членов Государственного совета и Комитета министров, которые бы относились к делу с горячим интересом действительной пользы, без примеси других побуждений, и те члены, как, например, князь Урусов, барон Корф и прочие, которые более равнодушны к окончательному решению в том или ином смысле всякого дела, — те члены более всего имеют влияния, потому что за ними слепо идут другие, зная, что вожаки чувствуют, куда ветер дует.

В эпоху реформ, т. е. в первое десятилетие царствования, всеобщее возбуждение расшевелило несколько и самые равнодушные натуры, но теперь все замерло...

1875 год

Что-то Бог даст в наступающем году?

2-го января. В официальном мире новостей немного. Вчера объявлено о назначении 4-х новых членов в Государственный совет: сенатор Стояновский, статс-секретарь Заблоцкий¹⁰⁴, сенатор Торнау и статс-секретарь¹⁰⁵ Корнилов — вот на кого пал в нынешний год выбор.

Двое первых будут полезными членами. Стояновский был при Замятнине товарищем министра юстиции и проводил в Государственном совете судебную реформу, вследствие чего он попал в немилость и был в числе заподозренных в неблагонамеренности лиц. Заблоцкий еще более заподозренный человек. Он некогда был одним из любимцев графа Киселева и с тех пор прослыл красным демократом и прочее. При Николае Павловиче князь Меншиков, видя в Английском клубе вывешенное имя Заблоцкого, предложенного в кандидаты членов клуба, сказал громко: «А, это адъютант Пугачева?». Эти слова мгновенно разнеслись по всему клубу, и Заблоцкий был забаллотирован. Впоследствии Заблоцкий был статс-секретарем в Государственном совете и был членом Редакционной комиссии по крестьянскому делу. Это исключительно заподозрило его в глазах государя, и на неоднократное предложение

великого князя о назначении Заблоцкого членом Совета государь постоянно отвечал отказом. Вместо того он сделан был членом Финансового комитета¹⁰⁶. Настоящее его назначение последовало вследствие настоятельной просьбы великого князя, которому Абаза и Рейтерн доказали, что в Департаменте экономики в настоящее время нет ни одного не только живого человека, но хотя бы мало-мальски понимающего финансовое дело. Государь согласился на это назначение, видимо, по необходимости.

На днях открывается, под председательством Валуева, комиссия для рассмотрения проекта или, лучше сказать, проектов правил о найме рабочих. Эта комиссия составлена из вызванных по выбору правительства председателей земских управ, предводителей дворянства и городских членов. Эта комиссия есть та мышь, которую родила гора, задуманная в прошлом году Шуваловым и Валуевым, и которая должна была осуществить какое-то новое представительное учреждение для рассмотрения законодательных вопросов прежде поступления в Государственный совет. В настоящей скромной своей форме комиссия эта едва ли сделает что-либо толковое. Первоначальный проект о найме рабочих составлен был в комиссии под председательством Игнатьева. Затем в Министерстве внутренних дел выработан был свой проект, а затем Валуев в прошлом году летом, во время пребывания своего за границей, составил, как он называет, сводный проект, который, в сущности, есть его собственный, им составленный проект. Этот валуевский проект Валуев и испросил высочайшее разрешение рассматривать в комиссии, которая будет рассматривать его (собственно, им сочиненный) проект. Из этого, кроме вздору, ничего выйти не может...

15-го января. По примеру предшествовавших лет я назначен опять в комиссию для рассмотрения отчета министра народного просвещения за 1873-й год. Кроме того, я получил высочайшее повеление быть членом комиссии для рассмотрения отчета министра государственных имуществ под председательством генерал-адъютанта Г. А. Чевкина. К чтению отчета министра народного просвещения я уже приступил. Все, что не удалось мне сказать в прошедшем году о деятельности министра народного просвещения, все это я решился во что бы то ни стало сказать теперь. В отчете много сказано такого, что нельзя оставить без замечания. На словах принц Ольденбургский также как будто возмущен некоторыми действиями Толстого по введению учебной реформы и хочет заявить свои осуждения, но я уверен, что когда дело дойдет до развязки и до объяснения с Толстым, то принц спасует и мне опять придется воевать одному.

27-го февраля. На днях было первое заседание комиссии под председательством принца Ольденбургского для рассмотрения отчета министра народного просвещения. Я принес целую тетрадь отдельных замечаний и, кроме того, пространное мнение по возбуждаемому министром вопросу о существующем недоверии прочности предпринятых преобразований. Случилось то, что я ожидал: все в существе со мной согласны, но никто не решается включить в журнал для доклада государю те замечания, которые обобщают вопрос. Бедный принц твердит все одно, что не следует делать оппозиции министру, на-

значенному государем, и все мои возражения, что мы для того именно и назначены государем, чтобы рассматривать отчет министра, критиковать его и представить наше мнение государю, — все эти возражения бессильны поколебать желание представить все государю в отличном виде, чтобы не беспокоить его. В других членах я не нахожу никакой поддержки. Титов совсем стушеввался, и от него никакого толку добиться нельзя, на словах он со мной согласен, а на деле ничего не высказывает.

Делянов — по природе подленький армяшка — был сам в 1873-м году, т. е. в том же году, за который рассматривается отчет, товарищем министра народного просвещения, а потому ему уже ни в каком случае не приходится критиковать его собственный отчет. Совестно, право, слушать, что говорится в комиссии; когда подумаешь, что эта комиссия назначена самим государем из высших государственных сановников, ни от какого министра не зависящих, и что они призваны сказать государю свое мнение о ходе дел в целом управлении, то невольно становится стыдно видеть, какими ничтожными соображениями руководствуются эти царские советчики и как мало в них желания пользоваться своим независимым положением, чтобы честно исполнить свой долг. Как мне ни противно донкихотствовать и как ни глупо положение одного воина в поле, но, не менее того, я по совести не могу решиться говорить одно в обществе, в салонах, с товарищами везде, где толкуют и судят строптивные действия министра народного просвещения, а другое — в комиссии. Следующее заседание будет происходить в присутствии министра — графа Толстого. Я при нем прочту свое мнение и, конечно, вызову с его стороны бурю...

Мнение мое следующего содержания:

«В заключение обзора состояний средних учебных заведений в 1873-м году министр народного просвещения во всеподданнейшем докладе своем высказывает следующее тревожное заключение:

“Как бы ни размножились учебные заведения (говорит он), и какие бы ни принимались меры для доставления им возможно лучших преподавателей, учебно-воспитательное дело не может идти успешно и принести все ожидаемые от него выгоды, если однажды установившаяся учебно-воспитательная система не будет иметь надлежащей прочности и устойчивости или если даже уверенность в ее прочности будет поколеблена в умах как наставников, так и родителей и целого общества, ибо при недостатке уверенности в совершенной прочности принятой учебно-воспитательной системы, при ожидании возможности перехода от нее, быть может, к совершенно противоположной, ни наставники не могут действовать с полной энергией в указанном направлении, ни родители не будут вести своих детей, ввиду установленной системы, ни, наконец, сами учащиеся никогда не будут исполнять своих ученических обязанностей с полною добросовестностью и не будут приобретать в такой колеблющейся школе тех добрых навыков, которые необходимы для того, чтобы они вышли впоследствии истинно полезными гражданами¹⁰⁷, соединяющими с привычкою к добросовестному труду и твердостью характера безусловную преданность и покорность закону. Таким образом, прежде всего и более всего для преуспевания наших учебных заведений необходима столь долго недостававшая им прочность и устойчивость положенной в их основы учебно-воспитательной системы; без этого первого и важного условия напрасны были бы все материальные пожертвования

и все нравственные усилия правительства на дело общественного воспитания, ибо как бы ни были совершенны и учебные планы, и преподаватели учебных заведений, коль скоро заведения эти колеблются в самых своих основах — из них могут выходить молодые поколения не иначе, как бесхарактерные, без твердых нравственных правил, нравственно расслабленные и распущенные и неспособные ни повиноваться, ни повелевать, буде впоследствии им выпадет на долю действовать на более высокой чередѣ служения престолу и отечеству”.

Подобные сетования на отсутствие доверия общества к осуществляемой министром народного просвещения реформе и даже жалобу на явное ей противодействие — как со стороны некоторых ведомств, так и со стороны общества и печати — излагал г. министр народного просвещения государю императору и в прошлогоднем своем всеподданнейшем отчете. Поэтому нельзя комиссии со вниманием не остановиться перед этим знаменательным явлением и не попытаться исследовать его действительное значение и настоящую причину. В отчете г. министра народного просвещения причины эти не указаны, а напротив того, представленная им сторона успешного введения реформы так убедительно свидетельствует о пользе предпринятого преобразования, что, казалось бы, не должно быть места никаким колебаниям в сознании как общества, так и родителей и наставников относительно прочности вводимой учебно-воспитательной системы.

Между тем нельзя не признать, что выраженные в отчете г. министром народного просвещения опасения имеют некоторое основание и что действительно не установилось еще в общем сознании той твердости, убеждения в прочности принимаемых мер, которая во всех благих начинаниях правительства всегда служила и служит надежным ручательством успеха.

Правдивое указание на те причины, которые независимо от общих затруднений, всегда встречаемых в новом деле, могли иметь влияние на упомянутое колебание в общественном доверии, может принести существенную пользу, и, во всяком случае, мне кажется, что задача высочайше назначенной комиссии не будет вполне выполнена, ежели не разъяснены будут по возможности те стороны дела, на которые сам г. министр народного просвещения счел долгом дважды обращать внимание государя императора.

Разъяснение это тем более необходимо и полезно, что сущность самой системы, положенной в основание высочайше утвержденной реформы, не может составлять и не составляет уже в настоящее время какого-либо спора, напротив того, можно с достоверностью сказать, что в замеченном г. министром народного просвещения колебании скорее слышится опасение, чтобы неосторожными и крайними мерами не вызвана бы была реакция в другую, противоположную сторону.

Поэтому, оставляя в стороне исследование тех причин общих, которые представляются общими во всех нововведениях, как то: общий малый уровень педагогических и учебных вопросов, малая привычка к усиленным занятиям и проч. ..., следует остановиться только на тех явлениях, которые, оставаясь во власти исполнителей, могли иметь более или менее влияния на утверждение в обществе убеждения в прочности и плодотворности реформы.

Нельзя не признать всю мудрость установившегося по воле государя обычая возлагать надзор за приведением в действие важных реформ на особые комиссии и комитеты. В этом установлении ясно видна благая цель предупредить возможность всякого увлечения или одностороннего направления мер исполнительных, и нет сомнения, что заботам этих комиссий и комитетов обязаны многие реформы настоящего царствования успешным ходом их исполнения.

Весьма естественно было ожидать, что реформа учебно-вспомогательной системы, которая уже в высших правительственных сферах, при обсуждении ее, не нашла полного единомыслия, — встретит при обнаружении ее то же разномыслие и в обществе. Печать наша, насколько она служит отголоском различных мнений, разделилась по этому вопросу также на два враждебных друг другу лагеря. При этом задача официальных и полуофициальных органов Министерства народного просвещения могла бы заключаться в примирении крайних мнений и в популярном, по возможности, разъяснении всех возникших сомнений и недоразумений; на место того, к сожалению, в самом начале вопрос о необходимости реформ поставлен был на весьма невыгодную почву. Вводя на противников реформы подозрение в политической неблагонадежности и приписывая классическому образованию какую-то специфическую силу охранения порядка в государстве, официальные и полуофициальные органы министерства сузили вопрос до пределов, до которых опасно бы было говорить о системе реального образования, не подвергаясь обвинению в нигилизме. Этим объясняется, почему журнальная полемика по этому вопросу продолжала, в особенности в первое время, иметь односторонний и страстный характер, всегда вредный для дела.

Первые затем приемы министерства к введению реформы обнаружили такую тревожную и спешную заботливость о *п о в с е м е с т н о м* преобразовании в *с е х* старых гимназий по новому Уставу, что возникло сомнение, оправдавшееся потом на деле, что наличных средств совершенно недостаточно для того, чтобы дух и смысл реформы мог бы проникнуть в наскоро принятые преобразования.

К началу второго года по утверждению Устава утверждены были министерством новые учебные планы и предписано было ввести их в большее число гимназий. Хотя попечителям округов и директорам гимназий и дана была некоторая свобода изменять эти учебные планы, применяясь к обстоятельствам, но тем не менее почти во всех гимназиях *о д н о в р е м е н н о* последовали замешательства, приведшие и учеников, и преподавателей в крайнее недоумение. К тому же, по отзыву самого министра народного просвещения (Отчет 1872-го года, стр. 46 и 50), ни большинство окружных инспекторов, ни директоров, ни инспекторов гимназий не принадлежали к классикам, а в преподавателях греческого и латинского языков оказался значительный недостаток (более 70-ти), а из тех, которые и были, многие не соответствовали вовсе требованиям новой программы и системы преподавания.

Как бы то ни было, но почти во всех гимназиях, по словам самого г. министра (Отчет 1872-го года, стр. 44), пришлось сделать более или менее значительные, и притом различные, отступления от предложенных учебных планов. Но так как изменения, опыты и прилаживания различных нововведений производимы над организмом живого учащегося юношества повсеместно, то понятно, почему родители их и сами наставники *п о в с е м е с т н о* колебались в вере в успех преобразования, не подготовленного надлежащими средствами.

Лучшим доказательством того, что не строгость требований новой классической программы преподавания возбудила неудовольствие родителей и детей, а слишком поспешный и резкий прием внедрения в действие всех потребностей реформы, может служить Лицей цесаревича в Москве, где курс строго классического преподавания введен был правильно, установлен надлежащими средствами, разумно направленными. Заведение это пользуется большим сочувствием не только общества и родителей, но также единогласный отзыв всех его учеников свидетельствует, что усиленное преподавание древних языков не только не противно

природе учащегося юношества, а напротив, это юношество с любовью занимается изучением классической древности, когда сама метода преподавания древних языков осмыслена и к ней приготовлены как преподаватели, так и учащиеся.

В похвальном желании скорее заместить более 70 вакансий учителей древних языков министерство вынуждено было усилить призыв из-за границы преподавателей-славян. Эта мера, сама по себе полезная, произвела, в свою очередь, некоторую смуту среди сословия преподавателей. В то время, когда еще ни инспектора, ни директора, ни учителя наших гимназий не успели примениться ко всем требованиям новой реформы, в среду их поступило разом значительное число совершенно чуждых учительскому кругу людей, с другими взглядами, привычками, нравами, и притом принятых под особое покровительство министерства, которое, отличая исключительным доверием славян, не успело отвратить вредного антагонизма в среде преподавателей и даже некоторыми мерами возбудило оный. Так, например, требованием, чтобы в должность классных наставников исключительно назначались бы учителя, имеющие в классе наибольшее число уроков, — фактически почти все славяне сделались классными наставниками, и в сей должности за ними признано некоторое право инспекции и надзора за другими преподавателями. В нравах наших эти функции связаны с понятием начальнических отношений, и, как ни странно в таком деле упоминать о табели о рангах, но, не менее того, нельзя упускать из виду, что в России, а в особенности в провинции, чиновное местничество еще сохранило свое социальное значение. В настоящее время уже многие из славян занимают должности директоров и инспекторов, так как места сии даются исключительно преподавателям древних языков.

Успех реформы главным образом зависит от дружного и единодушного содействия всех деятелей. Потому для приобретения этой силы следует со вниманием относиться даже и к второстепенным условиям личных интересов. Сосредоточив в центральном управлении все мельчайшие подробности исполнения, министерство общим характером циркулярных распоряжений, в особенности относительно экзаменов, заявило какое-то недоверие к местным ценителям успехов учеников. Это немало содействовало к ослаблению энергии, духа и усердия деятелей.

Но каковы бы ни были меры, принятые министерством при введении реформы, они, без сомнения, не подлежали бы критической оценке общества и не возбуждали бы недоверия, ежели бы добытые в течение 3-х лет результаты ясно бы свидетельствовали о преимуществах новой системы перед старой.

Сущность этой реформы такова, что судить о ней по результатам 3-х лет, конечно, невозможно, но не нужно терять из виду, что общество, мало посвященное во все конечные и общие виды правительства, естественно, принимает свои впечатления извне, судит, заключает и устанавливает свое доверие к новому делу по внешним, осязательным для него признакам. Оно видит, что правительство жертвует огромные суммы, более чем удваивает смету по народному образованию, дает различные льготы разным степеням образования; со своей стороны, общество и материальными пожертвованиями, и усиленными ходатайствами заявляет об увеличении средств к образованию массы техников и специалистов по разным отраслям науки и промышленности.

Новая реформа ответила до сих пор на все эти ожидания следующими результатами:

1) Число учеников в гимназиях, несмотря на прибавку одной гимназии, уменьшилось против 1872-го года на 2781 чел., а число учеников в прогимназиях, несмотря на открытие 10-ти новых прогимназий, увеличилось только на 896 чел.

2) Число студентов в университетах уменьшилось против 1871-го года на 1106 чел.

3) Число оставляющих гимназии до окончания курса увеличилось в 1873-м году против 1872-го года на 3432 чел.

Вот те данные, по которым общество может осознательно и наглядно судить до сих пор о результатах реформы.

Все другие соображения — вполне, может быть, основательные, убеждающие в превосходстве малого по числу, но лучшего по качеству образования, — недоступны для большинства. Ввиду насущной потребности в медиках и техниках всякого рода, общество готово было бы помириться и с менее совершенным знанием и ни в каком случае не может признать, чтобы Россия могла бы довольствоваться 685-ю лицами для пополнения всех университетов и всех высших специальных невоенных заведений.

Неосновательность всех этих рассуждений может быть вполне доказана с точки зрения Министерства народного просвещения, а потому они приводятся здесь не в виде какой-либо непреложной истины, а только как оправдание или как объяснение того недоверия, или, лучше сказать, того отсутствия доверия в прочность реформы, на которое сетует г. министр народного просвещения.

Другой осознательный и прискорбно отозвавшийся в обществе повод к недоразумению возбужден был при самом начале введения в действие новых требований классической программы для учеников, бывших уже в 5-х, 6-х и 7-х классах. Не будучи подготовленными с низших классов к строгим требованиям новой программы, они на глазах родителей выбивались из сил, и многие из них, не выдержав борьбы, с горьким чувством испытанной неудачи бросились в ряды озлобленных, несчастных безумцев зловерной пропаганды.

Быть может, и это зло не обнаружилось бы так повсеместно, ежели бы постепенность в требованиях поставлена была главным залогом успеха реформы.

Новым Уставом определена была норма числа учеников в классе (не более 40). Эта вполне основательная и полезная в педагогическом отношении мера могла быть приведена в исполнение постепенным уменьшением ежегодного приема в те гимназии, в которых эти классы оказались переполненными, а также открытием параллельных классов; так это и делалось в большей части гимназий в России, но в Царстве Польском при самом начале введения нового Устава в 1873-м году в один год уволено было 1380 гимназистов. Открытие частных учебных заведений не могло облегчить участь изгнанных, потому что эти частные заведения едва могли быть достаточны для принятия нового ежегодного контингента поступающих в гимназии.

Подобные меры, естественно, поддерживают неудовольствие в обществе. Можно ли, в самом деле, ожидать, чтобы 1380 семейств, разом пораженных исключением детей из гимназий, могли молча сознать справедливость такой меры? Можно ли даже желать, чтобы они поверили и утвердились в убеждении, что такой результат реформы вполне согласен с видами и желаниями правительства?

Вот настоящие и истинные причины продолжающихся до сих пор колебаний, недоверий и нерасположений общества к учебно-воспитательной реформе.

Смею думать, что указание на эти причины вполне входит в задачу высочайше назначенной комиссии для рассмотрения отчета г. министра народного просвещения и что признание хотя бы некоторой доли правильности высказанных соображений может устранить в будущем все невыгодные последствия, так верно очерченные г. министром народного просвещения, об отсутствии сознания обществом

прочности и устойчивости или даже уверенности в устойчивости новой учебно-воспитательной системы.

Не может и не должно быть речи о каком-либо коренном, но и существенном изменении самой системы, раз принятой и высочайшей волей утвержденной. И прежде всего само Министерство народного просвещения должно в том убеждаться. Сила подобного убеждения даст всем действиям его по приведению в исполнение реформы то спокойствие и ту твердую, благоразумную и неторопливую последовательность, которые вызывают доверие, примиряют с необходимыми иногда жертвами и соединяют разрозненные силы в стремлении к одной цели.

Дав такое направление своей, бесспорно полезной, деятельности, министерству нетрудно будет путем частных, иногда неизбежных уступок сглаживать все резкие противоречия, не удаляясь от главной цели. Ему доступнее будет верное понимание действительных нужд края, отрешенное от всякой односторонности в оценке пределов, формы и практической потребности народного образования.

На этом пути министерство вполне обеспечит себя от всегда опасных последствий реакции, обезоружив ее вовремя, а не полагаясь на одну только охрану вынужденного безмолвия.

Желать следует, чтобы сии общие соображения были постоянно присущи сознанию главных деятелей Министерства народного просвещения и чтобы меры, ими принимаемые для цели, бесспорно полезной, умерялись бы тем духом терпимости и беспристрастия, который у п р о ч и в а е т нововведения и в общественном сознании, и на самом деле».

3-го марта. Как и следовало ожидать, принц Ольденбургский в совершенном отчаянии и боится предстоящего заседания с графом Толстым. Он опасается скандала, хотя я его уверял, что с моей стороны не дано будет никакого повода к скандалу. Принц уверяет меня, что вполне со мной согласен, но это достаточно будет сказать в журнале, что колебания быть не должно, так как реформа высочайше утверждена. Он так тревожится этим разногласием, что даже жаловался моей жене на мое упорство.

Это побудило меня ему написать следующее письмо, которое я завез ему сегодня утром:

«Ваше Императорское Высочество.

С юных лет привык я относиться с искренним уважением к советам и указаниям Вашим, а потому весьма естественно мое желание оправдать перед Вашим Высочеством мою настойчивость в удержании за мною мнения, не вполне согласного с соображениями Вашими.

Не могу, в особенности, не скорбеть при мысли, что, Ваше Высочество, видимо¹⁰⁸ относите мою настойчивость к какому-то предосудительному чувству пристрастия, раздражения и упорства. Я так свободен от подобных чувствований, что готов сейчас отказаться от всякого со своей стороны заявления, ежели бы нашел возможным согласовать это с долгом совести, данной мной присягой и убеждением в положительной пользе дела. Долг совести и присяги повелевает мне свято исполнить возложенное на меня, в числе прочих членов комиссии, поручение государя.

Быть может, разномыслие наше происходит от различного понимания значения и цели возложенного на нас поручения, а потому и требование совести каждого из нас относительно пределов обязанностей исполнения этого поручения могут быть различны.

1875 год

По моим понятиям, правдивый отчет министра о состоянии вверенного ему ведомства есть один из самых важных государственных актов, дающих верховной власти возможность державным оком обозреть общий результат его благих попечений.

Этот единственный законный и вполне целесообразный способ проверки общего хода дел в государстве не заменяется у нас никаким другим контролем общественного мнения или прессы. Он служит поэтому государю императору единственным регулятором собственных его требований и повелений.

Смею думать, что таков также взгляд государя императора на значение министерских отчетов.

В этом убеждает меня его воля поручать предварительное рассмотрение отчетов министров нескольким высшим государственным сановникам, по собственному его избранию, — лицам, не зависимым ни от какого министра и связанным единственно обязанностью всеми силами ума и совести облегчить труд сведения частных указаний и данных отчетов к одним общим верным результатам и выводам.

Так понял я задачу, доверием государя на меня возложенную.

При таком понимании задачи я считаю преступным стесняться второстепенными соображениями при исследовании причин явно обнаруженного зла, я считаю предосудительным уклониться от правдивого и ясного изложения их перед государем императором.

Деятельность Министерства народного просвещения требует в настоящее время особого внимания со стороны правительства, так как она готовит России ее будущее. Коренные преобразования в системе учебно-воспитательной, какое бы ни было мнение об относительном их достоинстве, должны быть признаны неизменными в своих основаниях и твердо охраняемы. Но одностороннее отклонение от цели главной реформы может быть замечено только при исполнении ее. В отчете министра народного просвещения, по моему мнению, есть данные, объясняющие общее нерасположение к принимаемым мерам. Вовремя предупредив развивающееся зло, можно предотвратить гибельные его последствия.

Не есть ли прямой и священный долг того, кто видит это зло, указать его? И указать так, чтобы государь император мог ясно видеть пределы и причины зла. Этого краткими намеками, полусловами, междустрочными отговорками сделать нельзя и не следует, уважая достоинство монарха, на благоусмотрение которого представляется заключение комиссии.

Я твердо убежден, что будет огромная польза для дела, ежели министр народного просвещения усвоит себе те общие соображения, которыми я заключаю особое мое мнение. Но мы не призваны быть руководителями министра — это всецело принадлежит власти государя. Наш долг — только подвергнуть замечания наши на благоусмотрение Его Величества.

Со своей стороны, я твердо решился это сделать. Не стесняя никого из гг. членов в принятии или непринятии моего мнения, я вправе просить и Ваше Императорское Высочество благосклонно устранить мысль о каком-либо с моей стороны упорстве или личном недоброжелательстве к кому-либо.

С истинным почтением и проч. ...».

5-го марта. Сегодня принц пригласил меня к себе. Говоря о полученном им моем письме, уверял, что он не намерен стеснять моего мнения, но что он, хотя, со своей стороны, и разделяет его, но не может подписать, потому что Толстой

столько ему лично наделал неприятностей, что всякое с его стороны заявление может показаться личностью. Все это, разумеется, вздор. Бедный принц просто трусит и боится Толстого. От беспокойства он даже заболел и не знает, когда будет в силах назначить заседание с министром. Я предлагал принцу взять назад свое мнение, ежели он согласится хотя часть его, и в более мягких выражениях, поместить в журнал. К сожалению, и в простых делах очень трудно понять принца, а теперь он несет такую чепуху, что ничего понять нельзя. Бесперывно переходя от одного предмета к другому, нет возможности остановить внимание его на каком-либо положительном решении. Он только постоянно повторяет, что никогда не было ни одного разногласия ни в одном комитете, где он председательствовал, и что никак не следует опорочивать действия министров, которые выбраны государем. Я могу сказать, *que les comités se suivent, mais ne se ressemblent pas**.

В другой комиссии, где я тоже членом, председательствует Чевкин для рассмотрения отчета министра государственных имуществ. Там, наоборот, председатель настаивает не только на том, чтобы все подробности сделанных министром распоряжений были критически изменены, но чтобы комиссия сделала и на будущее время разные указания, как действовать министру. Тут мне приходилось, напротив, доказывать, что комиссия не может и не должна принять на себя обязанности советами своими участвовать в будущих административных распоряжениях министра. Все это какая-то пустая комедия.

23-го марта. Наконец моя борьба в комиссии подходит к развязке. На днях было 3 заседания с министром. На первом заседании я прочел свое мнение и возбудил, как и следовало ожидать, ярость Толстого. Он доказывал мне неверность приводимых мною цифр, и когда я указал эти самые цифры в приложении к отчету, то он просил председателя поручить докладчику Шубину вместе с г. Георгиевским, пославшим отчет, проверить эти цифры, что и было исполнено ко второму заседанию. К третьему заседанию Толстой вызвал из Варшавы начальника округа — де Витте, чтобы объяснить причину внезапного увольнения 1380 гимназистов. К этому заседанию Толстой привез письменный ответ на мое мнение. Эта толстая записка была им читана в заседании, на что потребовалось один час с четвертью времени. В ней, кроме общих соображений и возражений на доводы, вовсе мною не приводимые, и кроме различного сопоставления и группировки цифр, искажающих истину, находится пропасть самых неприличных инсинуаций на мой счет в выражениях самых резких, и вообще тон всей записки до такой степени неприличный, что я, по окончании Толстым чтения, обратясь к принцу, сказал: «Вашему Высочеству подлежит судить о том, в какой мере тон подобного возражения соответствует достоинству комиссии». Я же, со своей стороны, не убедился ни одним доводом графа Толстого и остаюсь при своем мнении. В заключение решено было обе записки — и мою, и графа Толстого — приложить к журналу комиссии и представить государю. Я, однако, счел нужным прибавить после отзыва Толстого коротенькую записочку следующего содержания:

* комитеты следуют чередой, но не напоминают один другого

1875 год

«Выслушав с глубоким прискорбием замечания г. министра народного просвещения на представленное мною в комиссию особое мнение, я успокоен надеждою, что государь император благоволит сам прочесть мое мнение.

Ежели хотя только одна тень приписываемых мне г. министром народного просвещения предосудительных намерений и побуждений могла пасть на меня в глазах Его Величества, я считал бы себя недостойным того высокого доверия, которым почтен был назначением членом в несколько комиссий для рассмотрения отчета министров.

Это высоко ценимое мною назначение, само собою, ограждало неприкосновенность моих личных искренних и чистосердечных убеждений от нареканий, несовместимых с достоинством того учреждения, в состав которого я призван по воле государя. Поэтому я смело решился с искренним убеждением в пользу дела сказать откровенно мое мнение по вопросу, самим министром возбужденному.

В полном убеждении, что исполнил долг совести и присяги, я не нарушал пределов обязанностей моих как члена высочайше утвержденной комиссии, я сохраняю упование, что правдивое слово мое не подвергнется осуждению и не ослабит доверия к чистоте и искренности моих намерений».

12-го апреля. Сегодня я получил от председателя Комитета министров Игнатъева следующее официальное письмо:

«Милостивый государь

князь Дмитрий Александрович.

По высочайшему повелению внесен в Комитет министров журнал Комиссии, рассматривавшей отчет министра народного просвещения за 1873-й год, со следующими к сему журналу приложениями.

Государь император высочайше соизволил положить по означенным бумагам следующие, между прочим, собственноручные резолюции:

1) На докладе Его Императорского Высочества — принца Петра Георгиевича Ольденбургского, при котором был представлен государю императору журнал Комиссии, против объяснения, что возникшая между Вашим Сиятельством и действительным тайным советником графом Толстым полемика по вопросу об учебно-воспитательной системе приняла оборот весьма прискорбный: Да, потому, что она носит на себе характер личности.

2) На записке Вашей с изложением мнения касательно новой учебно-воспитательной системы:

Требую от статского советника князя Оболенского, чтобы записка его, кроме членов Комитета министров, не была никому сообщена, что и возлагаю на его ответственность.

3) В отзыве Вашего Сиятельства на объяснение министра народного просвещения, под заключительными словами, выражающими упование, что правдивое Ваше по настоящему предмету слово не подвергнется осуждению: «Не могу не подвергнуть его осуждению за характер личности, которым оно переполнено».

О таковых высочайших Его Императорского Величества резолюциях поставляю уведомить Ваше Сиятельство, покорнейше прося принять уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Павел Игнатъев.

№ 554. Апреля 11-го, 1875-го года».

Итак, вот чем кончилась моя первая попытка серьезно отозваться в качестве члена комиссии на отчет, предложенный обсуждению учреждения, специально для сего назначенного... Много знаменательного в этом факте, ясно характеризующем общий дух и настроение настоящего времени. Прежде всего, замечательно, что председатель комиссии, принц Ольденбургский, в представлении государю называет особое мнение одного из членов комиссии и ответ министра на это мнение — *п о л е м и к о й*, и притом «прикорбной». Это доказывает, что в понятиях принца (и не одного принца) разногласия в оценке действий министра существовать не может и что задача комиссии заключается единственно в представлении государю экстракта отчета с приличными похвалами и одобрительными отзывами, с которыми министр, естественно, должен согласиться. Это до такой степени справедливо, что когда в журнале комиссии граф Толстой заметил одну фразу, где слово «только» ему не понравилось, то он требовал, чтобы это слово было уничтожено, и когда принц стал защищать эту редакцию, то граф Толстой, со свойственным ему нахальством, объявил, что ежели в журнале будет оставлено слово «только», то он на это слово напишет 10 листов возражений. При этой угрозе принц сейчас же спасовал и приказал слово «только» уничтожить. Я заметил на это, что на будущее время полезно было бы просить графа Толстого вместе с отчетом представлять и проект журнала комиссии с замечаниями на этот отчет, это сократит работу, а в сущности будет то же. При таком понимании дела и при таком направлении понятно, что мое особое мнение показалось и принцу, и принято государем как нечто выходящее из правильного хода формального производства; а потому название «прикорбной полемики» оказалось приличным выражением действия, явно противоположного смыслу этого выражения. Засим, очень замечательна общая резолюция, положенная государем на моей записке: «Требую от князя Оболенского, чтобы записка его, кроме Комитета министров, не была никому сообщаемая, что и возлагаю на его ответственность».

Прежде всего, эта резолюция показывает, что записка моя произвела впечатление, и ежели бы ее содержание показалось преувеличенным или неверным, то едва ли бы она вызвала такое опасение, которое слышится в словах резолюции. Ребяческий страх, что моя критика сделается известною и что она вызовет сочувствие, выразился в строгом требовании, с личной ответственностью, чтобы *н и к о м у* эта записка сообщаемая не была, а исключение в пользу членов Комитета министров доказывает, что государь признает пользу ознакомить министров с выводами, мною сделанными.

Замечательно также и то, что, требуя строгой тайны, тем самым как бы свидетельствует, что высказанные мною замечания не составляют общего мнения, тогда как я, в сущности, ничего не сказал такого, о чем не говорят от одного края России до другого. Последняя резолюция государя на моем кратком отзыве вследствие ответа графа Толстого есть явная несправедливость.

Читая и перечитывая и сам, и другим свою записку, я решительно не нахожу в ней ничего личного против графа Толстого. Критикуя его действия как министра, я не коснулся ни прямо, ни косвенно его личности. Я объясняю себе эту резолюцию государя тем, что он, читая толстую записку графа Толстого,

вероятно, даже не будучи в силах одолеть ее сразу, был действительно неприятно настроен общим тоном и личностями, которыми она против меня переполнена, и когда потом дошел до моего короткого отзыва, то, забыв тон и содержание моей записки, выразил гнев свой на меня. Я, признаюсь, ожидал совершенно противоположного результата. Я думал, что государь положит неодобрительную резолюцию на мою записку за ее существенное содержание, чтобы поддержать Толстого, а что на моем коротком отзыве он скажет что-нибудь одобрительное чистоте моих намерений или, по крайней мере, что он в них не сомневается. Я, признаюсь, для этой цели и написал этот отзыв, чтобы дать, так сказать, государю удобный выход из затруднительного положения, а именно, поддержать министра и не оскорбить члена, исполняющего возложенные на него поручения. Вышло же совершенно наоборот. Сущность и содержание моей записки не осуждены, а осуждена записка за характер личности, которым будто бы она «переполнена». Мне достоверно известно также, что Толстой все это время прибегал ко всем возможным средствам, чтобы очернить меня в глазах государя. Он обращался даже с этой просьбой к разным лицам, к Потапову, между прочим, и к Шувалову (который теперь здесь), но они ему отказали в содействии. Не менее того, он употребил все время (не менее двух недель), пока доклад комиссии был у государя на столе, чтобы убедить государя, что будто бы я к нему, Толстому, имею личную вражду, еще сохранившуюся от времени совместного служения моего с ним в Морском ведомстве, что будто бы я писал свою записку под влиянием Головнина — бывшего министра народного просвещения и явного врага Толстого, что будто бы вся враждебная Толстому партия и великий князь во главе их употребляет меня как оружие против него. Вся эта при разных случаях и при личных докладах пущенная клевета, несомненно, подействовала на государя. Он даже, говоря о моей записке Титову, выразился, «что это старые счеты». С моей стороны я не имел никаких способов, да и не имел никакого желания опровергать клевету. Никогда я с Толстым во вражде не был, никогда не имел никаких личных столкновений. Напротив, до прошлогоднего заседания и даже после этого сохранял с ним самые лучшие отношения. Негодование мое против него основано единственно на убеждении, что он много сделал и еще сделает вреда, и еще более в качестве обер-прокурора Синода, чем министра народного просвещения. Человек в высшей степени завистливый, честолюбивый и желчный, он, по моим понятиям, ничего живучего создать не может. В деле воспитания, в особенности где нужна душа и спокойная, ясно сознаваемая последовательность в действиях, у него ничего не видно, кроме желчи, обмана и лукавства. Окружает он себя или идиотами, или такими же поддобрострастными и желчными креатурами.

13-го апреля. Сегодня, по случаю Светлого праздника, последовали разные милости и награды, и, между прочим, министр народного просвещения граф Толстой получил бриллиантовые знаки на Александра. Хотя это очередная награда, и Толстой был в числе министров, стоявших на очереди для получения награды, тем не менее все уверены, что Толстой мне обязан своей наградой. Это несправедливо, но в рескрипте, видимо, помещено несколько фраз

ввиду эпизода с отчетом, так, например, ему выражена благодарность за стойкость в приведении в исполнение новой реформы и проч. ...

Большая часть министров и председатель Комитета министров очень сочувственно относятся к моей настойчивости. В публике распространились самые разноречивые слухи о содержании моей записки. Таинственность, в которую она, по воле государя, облечена, возбуждает общий интерес. Я настоятельно просил Игнатъева, чтобы моя записка была прочтена целиком в Комитете министров, а также чтобы записка Толстого тоже была прочитана, дабы гг. министры могли сами судить, кто из нас более подлежит осуждению в личности. Толстому очень не хочется, чтобы записки наши читались в Комитете, и он, вероятно, будет об этом хлопотать.

21-го апреля. Сегодня Игнатъев сказал мне, что он был у государя и спрашивал его, прикажет ли он читать в Комитете министров одни только разномыслия свои по журналу комиссии или также и наши записки, и что государь приказал читать обе записки, только, по возможности, не допускать до суждения. Игнатъев уверял меня, что он сказал государю, что, по его мнению, в моей записке нет никакой личности. Не знаю, говорил ли он это, но, во всяком случае, его слова никакого значения иметь не могут. Для меня любопытно только одно — назначит ли меня государь на будущий год в комиссию для рассмотрения отчета Толстого. Игнатъев утверждает, что непременно назначит, что с ним, Игнатъевым, был эпизод гораздо хуже моего, а именно: несколько лет тому назад он, Игнатъев, назначен был рассматривать отчет военного министра, и что по некоторым вопросам, возбужденным в комиссии по этому отчету, Игнатъев, Сумароков и Гринвальд подали особое мнение, по прочтении которого государь велел им объявить, в присутствии Комитета министров, выговор, и что, несмотря на это, на следующий год его опять назначили рассматривать отчет военного министра. Нельзя не признать, что это весьма странный способ узнавать истины и поощрять правдивость. Я спросил Игнатъева, что как же он поступил? Подал ли он после этого выговора особое мнение? Он сказал, что нет, не представлялось случая... Какая комедия... а когда подумаешь, что так ведутся государственные дела. Я хотел было сообщить копию с моей записки наследнику и великому князю, которые, вероятно, сочувственно о ней отозвались бы, но отдумал — не стоит. Я свое дело сделал и в нем не раскаиваюсь, а там — что будет, то будет... Принц Ольденбургский уехал за границу совсем больной. Заседания нашей комиссии очень его расстроили.

22-го апреля. Сегодня в Комитете министров читали мою записку и возражения Толстого. Все министры были налицо. Чтение продолжалось с лишком полтора часа. Я в заседание приглашен не был. Несмотря на утомительное чтение, начавшееся в конце заседания, министры слушали со вниманием, и Толстого, видимо, корбило. Никаких рассуждений не было, и все принято к сведению.

24-го мая. На сих днях я обедал у императрицы. Царя не было. Он уже уехал в Берлин и в Эмс. Разумеется, не было и речи о моем эпизоде с Толстым,

но, вероятно, императрица об этом знает и хотела мне своим приглашением показать, что не осуждает мое действие. На днях я тоже провел 2 вечера у императрицы. Читал ей приготовленные мною к изданию письма дедушки Нелединского и записки батюшки. Очень интересовалась она этим чтением.

Я ездил на несколько дней в Березичи, чтобы приготовить к летнему пребыванию семьи в деревне. Сам же я буду жить между Петербургом и деревней, так как по делам банка мне нельзя надолго отлучаться отсюда.

26-го июля. С мая месяца я уже три раза ездил в Березичи, где живет вся семья. Постройки мои там почти кончились, и теперь там жилье просторное и удобное. Свободное время здесь употребляю на исправление корректур издаваемых мною писем и записок дедушки и батюшки. Погода повсеместно в России стоит жаркая, на юге страшная засуха и потому неурожай. Даже в Петербурге стоит постоянно отличная погода.

22-го ездил в Петергоф поздравить императрицу. Издали, на выходе, видел государя, но он ко мне не подходил, и я не знаю, в каком он расположении ко мне. Теперь начинаются маневры и всякие обычные летние удовольствия. В городе нет ни одной души. На днях опять был в Сенате политический процесс. Судили двух несовершеннолетних студентов: одного флейтчика¹⁰⁹ Московского полка и одного отставного фельдшера, за распространение возмутительных книг и воззваний на фабриках и в Семеновском полку. Нельзя было без отвращения и вместе без сожаления смотреть на незрелых юношей, смеющихся над судом и отказывающихся от всякой защиты.

Революционная пропаганда среди недоучившейся молодежи принимает все более и более серьезные размеры, и строго карательные меры не только не останавливают зла, но увеличивают оное. Тут, мне кажется, нужны совсем иные средства, я об этом думаю и составляю об этом записку собственно для себя, а ежели удастся выработать что-нибудь дельное, то пушу в ход.

4-го декабря. С каждым годом деловой сезон начинается у нас позднее. Только к концу ноября съехались министры и вернулся государь из Ливадии. Я также часть сентября провел за границей. Был в Гамбурге для свидания с князем Петром Андреевичем Вяземским¹¹⁰, с которым необходимо мне было переговорить о приготовляемом мною издании «Хроники». Я нашел князя Петра Андреевича необыкновенно бодрым и здоровым, несмотря на преклонные лета (ему 84 года) и тяжкие болезни, два раза доводившие его до сумасшествия. Он так теперь здоров физически и нравственно, что заморил меня прогулками по Гамбургу и Франкфурту. По словам его, климат Гамбурга произвел над ним чудо, и он уже два года почти неотлучно зиму и лето проводит в Гамбурге. Доказательством его умственной бодрости может служить письмо, написанное им для моего издания, с воспоминаниями о Нелединском. Он горячо принял к сердцу мое предложение участвовать в моем издании и, конечно, ежели бы дело было не к спеху, то он написал бы еще более пространную статью.

Я пробыл с ним три дня и потом отправился в Париж, где прожил 10 дней, пользуясь чудной погодой и весьма разнообразными удовольствиями париж-

ской жизни. Внешних следов бывшего еще недавно над Францией погрома нет никаких.

То же довольствие, та же веселость, тот же наплыв иностранцев и тот же политический сумбур при совершенном полицейском порядке. Нет следов также и потери пяти миллиардов, так же точно, как нет следов и в Германии приобретения сих капиталов, напротив — бедность и скука как будто увеличились в Германии после войны. Никто еще хорошенько не объяснил причину этого изумительного явления.

Во время моего пребывания в Париже вышла там книга, наделавшая много шума: «Fanny Lear, Memoires d'une Americaine»*. Это рассказ одной американки, которая под именем Miss Phenix жила в Петербурге и была на содержании у несчастного великого князя Николая Константиновича, который был в нее по уши влюблен, поверял ей свои и семейства своего тайны, путешествовал с ней за границу и по России и, наконец, кончил так печально свою карьеру, уличенный в краже и признанный сумасшедшим. После ареста великого князя ее выслали из Петербурга, и она поселилась в Париже, где продолжала вести развратную жизнь и, наконец, напечатала все подробности скандальной ее связи с великим князем и все его письма из Ташкента и Хивы, куда он ходил во время первой экспедиции. Скандальная публикация эта возбудила большой интерес, так что книжка, продававшаяся в первый раз за 5 франков, стоила уже через три дня 100 франков. Французское правительство в угоду нашему запретило книгу и выслало американку из Франции. Все парижские газеты отзывались более или менее с негодованием об этом издании, и так как дружба и приязнь к России теперь вообще à l'ordre du jour** во Франции, то скандал, произведенный этой книгой, продолжался недолго. К тому же можно было ожидать, что наглая американка пойдет гораздо далее в своих некрасивых повествованиях, что, вероятно, и будет впоследствии.

Нельзя не пожалеть о бедном молодом человеке, которого жизнь не только исковеркала окончательно, но еще дает повод оглашать весь позор распущенности нашей царской фамилии. К сожалению, это не есть исключительное явление. При тех условиях, при которых растут, воспитываются и живут наши великие князья, не может быть иначе. Эти условия таковы, что только необыкновенно возвышенные и нравственные, от природы развитые натуры могут безвредно вынести их и не сделаться мерзавцами. Начиная с искусственного, в заколдованном кругу придворных, воспитания вся жизнь великих князей обставляется иначе, чем всех других людей. С достижением совершеннолетия, т. е. менее 20-ти лет, они почти свободно располагают своими доходами, простирающимися до огромной цифры, окруженные льстецами и поклонниками всякого рода, среди возможных женских и других соблазнов, они не стеснены никакими внешними преградами для обуздания кипящих в молодом человеке страстей. Полное отсутствие семейной жизни и всяких занятий, отсутствие всякого опасения со стороны публичного мнения, так как всякое оглашение о

* Фанни Лир. Воспоминания американки.

** в повестке дня

действиях лиц царской семьи строго воспрещается, полное обеспечение от преследования полицейского за нарушение правил благочиния и порядка — все это ставит молодого человека в 20 лет в такие особенные от других людей условия, что никак нельзя удивляться, что большинство юношей, к царской фамилии принадлежащих, не удерживаются на добром и честном пути, а срамят и себя, и свое звание, собственными руками подкапывая самое основание принципа, которым они существуют. При этом невнимание к общественному мнению так велико, что тайная и явная полиция не церемонится в выборе средств в пресечении явного скандала... Хотя отчасти это происходит от неумения действовать осторожно и от излишнего усердия явной и тайной полиции, постоянно соперничающих в желании угодить, но, конечно, полная уверенность в безмолвии возмущенного скандалами общества облегчает роль исполнителей мер, вызванных крайнею необходимостью. Так, например, на днях танцовщицу г-жу Числову, которая уже давно живет с великим князем Николаем Николаевичем старшим и прижила с ним нескольких детей и которая публично, самым нахальным образом, разоряла и компрометировала великого князя, выслали из Петербурга в Венден¹¹, пользуясь отсутствием великого князя и без его ведома. Для этой операции приезжал сюда из Ливадии нарочно сам шеф жандармов Потапов и распорядился так, что весь город на другой день узнал об этом скандале, и великий князь теперь опозорен так, что возвращаться ему в Петербург и стать во главе гвардии становится невозможным.

К великому моему удовольствию, я не назначен в нынешнем году членом комиссии для рассмотрения отчета министра народного просвещения графа Толстого — это меня освобождает от весьма скучного труда, но главное — выводит меня из весьма затруднительного положения, ибо я твердо решился, в случае ежели бы был назначен, написать государю письмо, в котором намерен был сказать, что принимаю это назначение за доказательство, что государь изменил свое мнение о том, что при подаче в прошлом году своего мнения я будто бы руководился личностями, ибо не могу думать, чтобы при таком мнении мог бы государь вновь назначить меня на такое дело. Конечно, это письмо не могло бы доставить удовольствия и, вероятно, еще более мне бы повредило. Как бы то ни было, но изменение принятого порядка — каждый год назначать одних и тех же лиц для рассмотрения отчетов — заслуживает внимания и доказывает, что государь помнит и продолжает негодовать на меня за мое мнение. Искренно об этом сожалею, но не раскаиваюсь в своих словах и вновь сказал бы их при случае.

Со своей стороны, граф Толстой, как бы в ответ на приведенные мною доказательства существования им же самим указанного недоверия общества к его реформе, предпринял путешествие по югу России и устроил себе, через посредство своих креатур, манифестации в Таганроге, Одессе и других городах: ему давались обеды, подносилась хлеб-соль, к нему приводились благодарные матери семейств, и все это сопровождалось такими преувеличенными похвалами, спичами, что возмутительно и гадко читать. «Московские ведомости», конечно, печатали эти спичи *in extenso** и не преминули упомянуть, что

* в целом, полностью (лат.)

эта манифестация явно доказывает, что дело противников графа Толстого окончательно проиграно. Все другие газеты, конечно, весьма осторожно и полусловами решились, однако, выразить сомнение в искренности подобных манифестаций. Нельзя, кажется, представить более сильного свидетельства слабости общественного мнения в противодействии лицам, власть имущим. Нет ни малейшего сомнения, что в настоящее время, справедливо или нет — это другой вопрос, но не подлежит сомнению, что в настоящее время граф Толстой как министр народного просвещения и как прокурор Синода¹¹² не только не популярен, но на нем, можно сказать, сосредоточивается ненависть всех слоев общества. Вышедшая недавно из-за границы брошюра князя Васильчикова «Письмо к графу Толстому», в которой, в сущности, говорится то же, что и в моем мнении, и которая с жадностью и с сочувствием читается в России, также немало способствовала к оправданию неприязненного к графу Толстому чувства. И в это время этот господин разъезжает по России, ему дают обеды и говорят восторженные речи, и не только никто не протестует против этого ни словом, ни делом, но даже периодическая печать почти безмолвствует. Я сказал на днях министру юстиции графу Палену, что, по моему мнению, у нас является новый вид преступления, который бы должен подлежать преследованию прокурорской власти. Это преступление — есть публичная подлость. Ежели публичный разврат может подлежать преследованию, хотя никому нельзя под страхом уголовного закона воспретить быть развратным человеком, лишь бы он не оскорблял чувства приличия, так точно публичная подлость, оскорбляя нравственное чувство общества, действует возмутительно и не должна быть терпима.

1876 год

4-го января. Новый год я встретил под впечатлением неожиданного сюрприза. Я получил орден Св. Александра Невского. Это первая награда, о которой я не знал заранее и которую не ожидал, во-первых, потому, что для членов Государственного совета нет срока для получения очередных наград, ибо они назначаются по инициативе самого государя, и, во-вторых, главное — потому, что я думал, что гнев государя по моему мнению на отчет графа Толстого выразится в более продолжительном обходе меня всякими наградами. Чтобы не дать повода предполагать с моей стороны какого-либо искательства или желания оправдаться, я нарочно избегал случая представляться государю и даже попадаться ему на глаза. По собранным мною сведениям, оказалось, что никто за меня не ходатайствовал и что я получил награду по собственному соизволению. 1-го числа я поехал во дворец к обедне и после обедни благодарил на общем представлении. Государь не сказал мне ни слова, а только подал руку. Все это весьма соответствует характеру Александра Николаевича — весьма вероятно, что я теперь не получил бы награду, ежели бы ей не предшествовало выражение неудовольствия. Вместе со мной получил Александра Невского и Головин, это даже довольно замечательно, потому что мне достоверно известно, что Толстой